Посвящается Майе

КНИГА ПЕРВАЯ
«Мужской клуб»

...Но право, может только хам
Над русской жизнью издеваться...

Александр Блок

Наконец-то! Двери! Здесь, у дверей своей квартиры, я вздохнул с облегчением: сейчас нырну куда-нибудь во что-нибудь теплое, во что-нибудь свое, в подушку, в одеяло, или в кухню нырну, где так красиво разложены овощи... а может быть, нырну в книгу... там валяются на полу «Приключения капитана Блада» и «Драматургия Т.С.Эллиота» и какая-то лажа по специальности, словом... а не нырнуть ли в горячую ванну?.. никому не открывать, на звонки не отвечать, сидеть в пузырях, в простых и понятных мыльных пузырях и забывать всю эту внешнюю дикую белиберду.

Я переступил порог и блаженно пошевелил пальцами в сумерках. Вот выплыли из темноты мои домашние: ковбой, нарисованный на двери уборной, чучело пингвина, ключ Ватикана с портретом папы Иоанна XXIII, рулевое колесо разбитой в молодые годы автомашины, посох Геракла, лук Артемиды, ну вы знаете, все такое шутливое, благодушное (спасибо женщинам за заботу!) ... милые, милые домочадцы... как вдруг в глубине квартиры громкий голос отчетливо сказал: «Родина картофеля — Южная Америка!»

...и тут я позорно растерялся, заметался под напором этого страшного голоса, который продолжал говорить что-то уже совсем непонятное. Я покрылся липким стыдным потом, пока не сообразил, что это телевизор где-то в моей квартире работает. Наверное, вчера забыл выключить, когда блаженствовал с бутылкой перед мелькающим экраном.

Опомнившись, я бросился в спальню, прыгнул на кровать, стряхнул с ног башмаки, закутался в шерстяное одеяло, включил ночник, открыл журнал «Вокруг света» и положил его себе на лицо. Сердце еще колотилось, дергалась мышца на шее, прошедший день бушевал в закрытых глазах, словно компания пьяных подонков.

Да все-таки, что же особенного произошло? Да ведь ничего же особенного, ей-ей. Давай, друг, организуй прошедший день. Возьми себя в руки. Начни с утра.

...Утром я плелся по переулку к метро, а за моей спиной ничего особенного не происходило, только что-то ужасно скрежетало, громыхало и лязгало. Понимая, что там нет ничего особенного, я все-таки не оборачивался, боялся — а вдруг что-нибудь особенное?

Навстречу мне между тем под ветром и брызгами дождя шел человек с разлохмаченной головой. Перед собой он держал половинку арбуза и ел из нее на ходу столовой ложкой.

Беспредельно пораженный этой картиной, я понял, что есть какая-то связь между этими утренними явлениями, и обернулся.

Мальчик лет десяти тащил за собой по асфальту ржавую железную койку, на которую нагружены были тазы, куски водопроводных труб, краны, мотки проволоки, бампер инвалидной коляски и что-то вроде старинного самолетного пропеллера.

Я быстро рванул в сторону и остановился на углу. Оглянулся снова. Мужчина с арбузом приближался к мальчику с железом. Вот они поравнялись и остановились. Мужчина зачерпнул ложкой поглубже и угостил мальчика. Мальчик с аппетитом съел содержимое ложки, а потом что-то сердито сказал мужчине, покрутил пальцем у виска и стал разворачивать свой транспорт под арку дома. Мужчина виновато пожал плечами, усмехнулся и пошел дальше на шатких ногах.

Я вытер пот со лба. Ничего страшного не происходит, ничего абсурдного, мир ничуть не изменился за прошедшую ночь. Мальчик тащит в родную школу свою норму металлолома, а мужик, его папаня, бедолага-алкаш, ничем не хуже меня, идет от арбузного лотка к «Мужскому клубу», пивному ларьку возле Пионерского рынка. Вот только где ложку взял — загадка. Неужто прихватил из дома? Неужто такая предусмотрительность?

Я обнаружил вокруг себя привычный хлопотливый уют московского перекрестка, где торговали пирожками, шоколадками, яблоками, сигаретами, расческами. Купил яблоко, пирожок с мясом, шоколадку, пачку «Столичных», расческу и причесался тут же перед телефонной будкой. Как мило все вокруг! Каким добродушным юмором наполнены все предметы!

Возле метро, как всегда, в наполеоновской позе стоял мой сосед Корешок, брутальный мужчина полутора метров росту, но с ярко выраженным мрачным секс-апилом. Исполинская грудь его была выпячена, волосы расчесаны и за-правлены за крупные уши, голубой пижамный шелк полоскался вокруг крохотных ног.

Я поздоровался с Корешком, но он меня даже и не заметил. Мимо как раз бежали лаборантки из Института Кинопленки, и Корешок следил за ними мрачно горящим взглядом, воображая, должно быть, себя и свой член в их веселой стайке. Словом, все было на своих местах, и я стал спокойно спускаться в наш подземный мраморный дворец.

Приятно, в самом деле, иметь у себя под боком подземный мраморный дворец. Даже нам, современникам космической эры, приятно, а как приятно, должно быть, было москвичам тридцатых годов. Такие дворцы, конечно, очень их бодрили, потому что значительно расширяли жилищные условия и приобщали к безопасному величественному патрио-тизму.

Светились, подмигивали разменные автоматы, но я направился к последней на нашей станции живой кассирше.

У этой милой усталой женщины, просидевшей в мраморном дворце всю свою жизнь, теперь, в автоматное время, начали отдыхать руки, и даже книга появилась, в которую она иногда заглядывала своим лучистым глазом.

Мне нравилось менять серебро у нее, а не в автомате: то ахнешь на бегу насчет погоды, то пошутишь по адресу женского пола, а однажды, не сойти мне с этого места, я преподнес ей гвоздику.

Я уж открыл было рот для шутки, экие, мол, женщины чудаки, как вдруг увидел за стеклом вместо милой кассирши нечто совсем другое.

Не мигая, на меня смотрело нечто огромное, восковое или глиняное, в застывших кудряшках, с застывшими сумками жира, лежавшими на плечах, нечто столь незыблемое, что казалось, Творец создал его сразу в этом виде, обойдясь без нежного детства и трепетной юности. Орденская планка венчала огромную, но далеко не женскую грудь новой кассирши. Знак почета, что ли?

— А где же Нина Николаевна? — спросил я растерянно.

Ничто не дрогнуло, ни одна кудряшка, только пальцы чуть пошевелились, требуя монеты.

— А что же Нина Николаевна? — повторил я свой вопрос, просовывая в окошко пятиалтынный.

— Умерла, — не размыкая губ, ответила новичок и бросила мне два пятака.

— Два? — спросил я.

— Два.

— А полагается ведь три?

— Три.

— А вы мне даете два?

— Два.

— Понятно. Извините. Спасибо.

Я схватил монеты и, насвистывая что-то, устремился к турникетам, вроде бы ничего особенного не произошло, вроде бы все в порядке, а на самом деле все было не в порядке, все колотилось то ли от ужаса, то ли от странной неожиданности, от пугающей новизны жизни.

Отмахиваясь от диких воспоминаний, я лежал с журналом «Вокруг света» на лице, а внутри, в глубине моей квартиры тем временем творилось что-то невероятное, шла призрачная тележизнь.

— Виктор Малаевич — ВРАЧ, — сказал там кто-то со страшным нажимом.

Пауза. Покашливание.

— ...и вместе с тем ФИЛАТЕЛИСТ, — это было сказано значительно мягче.

Снова пауза, стук стульев... и уже совсем по-человечески:

— Пожалуйста, Виктор Малаевич.

Заливистый короткий кашлешочек Виктора Малаевича. Ясно, что еще и КУРИЛЬЩИК.

— Вот зубцовая марка черно-красного цвета без номинала...

Когда-нибудь в проклятом ящике перегорит трубка? Нужно встать, изгнать филателистов из квартиры и чаю заварить, крепчайшего чаю, а виски — ни капельки, хотя вот же на подоконнике почти полная бутылка «Белой лошади»... Машка вчера (позавчера? третьего дня?) принесла с Большой Дорогомиловской, из валютки... какая трогательная забота!

В поезде метро все свои шесть перегонов Аристарх Аполлинариевич Куницер думал о новой кассирше. Нет, не от жадности она зажала третий пятак, оно не ищет выгод, он лишь показал

мне свою неумолимость, он удержало мой пятачок, УДЕРЖАЛО без объяснения причин, оно не ответил на улыбку и не ответило бы и на слезы, этого их благородие не любят.

Обычно он приободрялся, подходя к своему институту, где заведовал огромной секретнейшей лабораторией, начинал думать о своей науке, о морали, о лазерных установках, о сотрудниках и сотрудницах, у кого сегодня библиотечный день, у кого месячные, о деньжатах, о халтурке и так далее, но сегодня все лезла в голову утренняя дичь: и металлолом, и арбуз с ложкой, и глиняный бульдог вместо Нины Николаевны, и третий пятак, блуждающий сейчас неизвестно где по подземному царству.

Следующий сюрприз ждал Куницера в гардеробе собственного института. Новый гардеробщик прищуренным чекистским взглядом смотрел на него. Седоватый ежик на голове, сквозь который просвечивает буроватая с пятнышками кожа, пучки седых волос из ушей и над бровями, надменный мешок под подбородком и горячие черные вишенки глаз, полные неприязни, подозрительности и даже — ей-ей — презрения...

Куницер вздрогнул. Горячие эти глазки и даже не столько глазки, сколько презрение в них, что-то ему напомнили. Что? Воспоминание уже улетело, едва коснувшись лба совиным крылышком.

Тьфу ты, пропасть! Он бросил ему пальто, взял номерок, взбежал по лестнице, но не удержался и выглянул из-за колонны.

Новый гардеробщик был солиден, как генерал в отставке. Теперь он сквозь очки изучал вторую страницу «Правды». Ему бы подошла профессорская кафедра в Академии Общественных Наук, стол в ОВИРе или, на худой конец, бразды правления в ЖЭКе, но уж никак не гардеробная. Да, вид его был здесь странен, но никаких воспоминаний, слава Богу, уже не вызывал. Да ладно, большое дело — новый гардеробщик! Отдал пальто, получил номерок, отдал номерок, взял пальто, вот и все отношения. Ну, может, гривенник бросишь, если в хорошем настроении.

...Тот солнечный денек... скрипучий снег... сосулька, как сталактит, свисавшая с карниза...

...С карниза школы, а напротив школы те четверо, КОТОРЫЕ НЕ ПЬЮТ...

А, ерунда! Ничего в нем нет особенного, и день прошедший был самым обычным. Это все фокусы похмелья — все эти спазматические воспоминания, белиберда с пятаками...

Поменьше надо поддавать! Вообще — к черту проклятое зелье! Мало ли других радостей в жизни? Бабы, например... яхты, космос, саксофон, лазеры, толстые книги, чистая бумага, Лондон, бронза, глина, гранит... бабы, например...

Вот загудело — включился далекий большой зал, КВН начался. Теперь не раньше полуночи угомонятся. Одесский юмор. Нет сил встать и выключить. И попросить некого. Дожил — попросить некого. Надо завести дистанционное управление, чтобы выключать гадину прямо с кровати. Да, это выход — дистанционное управление!

Пока что рука естественно тянется к подоконнику.

О, муха дрозофила, мать мутаций!

Куницер даже и не сразу заметил проскользнувшую в его кабинет девушку. В пыльном сумраке, в складках тяжелого бордового, сталинских еще времен панбархата он краем глаза уловил какую-то полоску свечения, потом вполглаза какой-то контур и лишь потом уже объем, все еще не вполне телесный, полупрозрачный...

Тогда уставился и разглядел подробно ее мини-юбчонку, и слабые колени, и ручки, прижимавшие ко греховному устью какой-то стеклянный ящичек, и острые плечики, как бы пристыженные маленькими красивыми грудками, и полу-детское в этих бордовых сумерках лицо, тоже как бы пристыженное и грудью, и плечиками, и сочленениями ног.

Потом он услышал ее голос, тронутый стыдом за тело, за ее небольшое тело, созданное для греха и только для греха.

— Здравствуйте, Аристарх Аполлинариевич. Меня прислала Мартиросова из Института генетики. Вы договаривались... Я принесла нашу дрозофилу...

Он ничего не понял, потому что уже шел к ней, содрогаясь от всесокрушающего желания, а она, конечно, все поняла сразу и едва успела поставить свой стеклянный ящичек на пол. Она коротко вздохнула, когда он взял ее за плечи и бессильно откинула голову, отдавая свое горло его жадному хулиганскому рту, а

потом приняла его в свои маленькие потные ручки и даже услужливо подпрыгнула, когда он сажал ее на подоконник.

Преодолев первую судорогу проникновения, внедрившись и утвердившись, он увидел у своей ноги стеклянный ящичек, внутри которого ползали крохотные мушки, великое множество, и тогда все связалось, все прояснилось.

Не далее как вчера он разговаривал по телефону с профессором Мартиросовой, эдакой видной дамой, чемпионкой всего комплекса по теннису. Профессор просила пометить его волшебным лазером партию ее любимых мушек-дрозофил, на которых она столь успешно изучает то ли мутации, то ли еще какие-то там херации. Он для порядка вначале покобенился, поломался, вроде бы этот лазер ему самому нужен (зачем?) , а потом согласился — тащите, мол, ваших цокотух.

Ну вот и хорошо, сказала старая ведьма, завтра я их вам принесу. Сами принесете? — испугался он. Почему же нет? — голос Мартиросовой в трубке слегка «поплыл», ушел на порядок ниже, в глубины тренированного организма. Что вы, что вы, профессор, зачем вам утруждаться, я уж какого-нибудь своего халтурщика пришлю за вашей пад... за вашей падалью, вот именно. Значит, не хотите, чтобы я сама пришла? Боже упаси, профессор! Как-то неинтеллигентно вы себя ведете, старик. Профессор, это со мной бывает. Ну, хорошо, я пришлю с лаборанткой. Такой был разговор.

Это, значит, лаборантка Мартиросовой... она принесла мух... вот эта, которая сейчас стонет, откидывая голову, что-то бормочет, пальцы вскидывает к лицу, вот эта, вот эта, вот эта...

Тут оба они закрутились в огненном гоголь-моголе оргазма, а очнулись уже не на подоконнике, а на диване. Таинственное перемещение.

Он кашлянул и пошел к своему столу, сел в кресло с высокой спинкой, строгий, прямой, ни дать ни взять президент колледжа. Вдруг поймал ее взгляд, едва ли не безумный, и уронил голову на руки.

Он был потрясен случившимся. Откуда вдруг пришло это неукротимое желание чужой плоти, желание ошеломить, взбесить, растрясти это маленькое существо и вслед за этим жалость, щемящее чувство вины, нежность к этой хиленькой девочке, желание спрятать ее от всех бед?

Ну, с жалостью-то скотина справилась вполне благополучно.

Он пошевелил какие-то бумаги на столе и глуховато, солидно спросил:

— Так что же? Вы принесли что-то от Мартиросовой?

— Да, дрозофилу...

— Вот этих мух? Гадость какая, надо же!

— Нет, знаете ли, Аристарх Ап... поллинариевич, они даже красивы, при увеличении они даже красивы, — в глазах лаборантки появилась вспышечка надежды улыбки, — знаете, мы любим нашу дрозофилу... право, она не гадость...

— Да я шучу.

— Понимаю, — надежда и улыбка погасли.

— Понимаете юмор?

— Считается, что понимаю.

— Вот и прекрасно. Оставляйте вашу падаль. Привет старой ведьме.

Его уже начал раздражать ее растерзанный вид, расстегнутая кофточка, задранная юбочка, глаза на мокром месте. Она, видно, поняла, засуетилась с пуговками, но все-таки спросила через силу:

— Аристарх Аполлинариевич, а правда, что вы?..

— Вздор! — вскричал он. — Клевета! Нелепые слухи! Хотел бы я видеть мерзавцев, что распространяют эти сплетни! Гады какие, завидуют моей зарплате! Знали бы, сволочи, как я за нее горбачусь! Никогда ничего про меня не слушайте, мало ли что наплетут. Всюду эти слухи, слухи... Извините, что-то нервы шалят. Что же вы сидите? Есть ведь, между прочим, трудовая дисциплина. Идите!

— Я не могу уйти... я же не могу без них... отдайте мне это, и я уйду... нет, я не плачу, но не могу же я без этого...

— Да без чего, черт возьми?

— Вот, вы сунули их в карман... они у вас в кармане.

— Да, вы правы! Простите великодушно. Возьмите! Отворачиваюсь. Все в порядке? Вас, должно быть, Инной зовут?

Когда Куницер повернулся, никого в кабинете уже не было. Солнечное пятнышко исчезло, и складки сталинского бархата свисали незыблемо. Он взял со стола сильную лупу и уставился

на мух в стеклянном ящичке. Они действительно были красивы: тигриной расцветки тела, искрящиеся крылышки, выпуклые глазки, как осколки смарагда.

Девушка исчезла! Ничего не было! Она появилась, оставила мух и растворилась в бархате, ничего не было!

Он бросился вон, пролетел по лестнице вниз и увидел ее в огромном пустом вестибюле. Инна, хотел было он уже крикнуть ей, Нина, Марина, вернись и не уходи никогда, ты мое спасение, но тут заметил рядом с ней давешнего гардеробщика.

Брюзгливо и вельможно опустив углы губ, гардеробщик что-то говорил девушке, что-то втолковывал ей, как бы поучал, как бы корил, а она зябко поеживалась, влезая в свою болонью, и вдруг рванулась, побежала прочь с закинутым лицом, простучала каблучками по паркету и скрылась теперь уже совсем.

Итальянские туфли по 60 рублей, а получает она 80. Вот загадка этих маленьких лаборанток. Получают восемьдесят, а туфельки покупают по шестьдесят. Одна из главных московских тайн.

— Ишь ты, побежала, — игриво кашлянув, сказал Куницер новому гардеробщику.

Ему почему-то захотелось скрыть от него свой порыв, свою странную тревогу и показать как раз наоборот, что он свой, лояльный, благонамеренно придурковатый, никакой, мол, не интеллектуал, свой, свой; и о девчонках можно потолковать, и о ледовых рыцарях, и о...

— Вы почему не на рабочем месте, молодой человек? — раздельно и с явной угрозой спросил гардеробщик.

Куницер оторопел. Никто в их шараге не смог бы ТАК спросить. Такого тона он не мог даже вообразить ни у шефа, ни у начальника первого отдела. Тем временем маленькие горячие глазки обыскивали Куницера, быстро ощупали лицо, обыскали пиджак, брюки, туфли, в беглом досмотре пробежались по карманам и остановились там, где лежала записная книжка Куницера со всеми его адресочками, телефончиками, со стишком и с формулой, записанной в сортире, с формулой, у которой были контуры птицы, с контурами гениальной формулы.

— Спички есть? — растерянно спросил Аристарх Аполлинариевич. Гардеробщик, довольный его унижением, взялся за газету со словами:

— Да, дисциплинка тут явно хромает.

тот яркий плотный снег
и солнце в коридорах
пустой урок пинок
эй Толька фон Штейнбок
иди тебя там ждут
под теми ЧТО НЕ ПЬЮТ
горняк моряк доярка и ваня-вертухай
и черное пятно на солнечном снегу
машина марки «ЭМ»
иди быстрее Толик
машина видишь ждет, а Сидоров, прыщавый гнилозубый все прыгал по партам на манер Читы с диким воплем «зачесалося муде, непременно быть беде», пока и он не затих, глядя вслед уходящему в глубину коридора фон Штейнбоку.

А.А.Куницер повел себя крайне странно. Он подошел к гардеробщику и вырвал у него из рук газету.

— Я вам не молодой человек, а заведующий лабораторией номер четыре, — донесся до него его собственный голос, звенящий, право же, неподдельным возмущением, — я доктор наук, член-корреспондент Академии, гонорис кауза Оксфордского университета, заместитель председателя месткома, кандидат в члены партии, член ученого совета, и не ваше дело судить о дисциплине в нашей шараге!

Выпалив все это, Куницер заметил, что гардеробщик стоит навытяжку с почти закрытыми глазами и подрагивающим пятнистым зобом.

— И не смейте читать газеты в служебное время! — рявкнул обладатель стольких титулов.

— Что же мне делать, если все уже повесились? — Гардеробщик, тяжко дыша, извлек огромный носовой платок, слегка заскорузлый по краям, и прикрыл им свой рот.

— Следите за пальто! — скомандовал Куницер. — Бдительно и четко охраняйте собственность личного состава. Ясно?

— Так точно!

— Но по карманам не рыскать! Понятно?

— Так точно!

«А не спросить ли мне его фамилию? — подумал Куницер. — Ведь я же помню ТУ фамилию, да и морду помню, я его узнал... нет-нет, этого уже много для сегодняшнего дня, а до вечера еще далеко... Это не тот. Тот сейчас, должно быть, в генеральском чине, он не может быть в гардеробной. Конечно, и этот один из них, один из той сталинской мрази... их вокруг тысячи, заплечных дел мастеров... заплечного дела профессор на заслуженном отдыхе...»

Куницера вдруг замутило то ли еще с похмелья, то ли от гадливости, и он еле успел дойти до туалета и запереться в кабинке.

Боже, Боже, есть ли конец одиночеству? Ведь даже тогда в ту весну, когда невская слякоть просачивалась сквозь стертые подошвы, в ту двадцать четвертую весну жизни, когда романтическим онанистом я бродил среди молчащих памятников «серебряного века», и читал призывы вступать в ряды доноров, и думал о донорах Будапешта, даже тогда безденежный и брошенный в ночь наводнения на Аптекарском острове, я был не одинок и чувствовал за своей спиной мать-Европу, и она не оставляла меня, юношу-европейца, и была она, ночная, велика и молчала. Где ты?

Пока почтенного членкора выворачивало, из записной его книжки в голову просочилась заветная формула, а из головы спроецировалась на кафель и теперь дрожала на нем, массивная и крутобедрая, то ли индюк, то ли птица-феникс. Куницер выскочил из туалета, таща ее за хвост. Она покряхтывала, пока он несся по коридору в свою лабораторию. Встречные шарахались.

— Осторожнее, братцы, гений летит! Наверно, новую формулу тащит в свой гадюшник!

Так он и ввалился в лабораторию. Ребята его, ошалевшие от преферанса, козла, морского боя и «Литературной газеты», расхохотались — опять, мол, чиф с новой птичкой!

Что-то в лаборатории шипело: то ли лазеры работали, то ли жарилась колбаса, сказать трудно. Не глядя на халтурщиков, Кун начал перерисовывать свою формулу на доску. Теперь он уже не стыдился за нее, потому что хвост ее уже не напоминал размочаленный веник, а торчал в северо-восточный угол доски, как фаллос на полувзводе.

Через полчаса кто-то, добрая душа, сунул ему бутылку пива. Формула, стальная птица, усмиренная, уже дрожала на доске, чуть-чуть позванивая перьями, слегка кося на всю банду агатовым глазом. Клокоча пивом, Кун отлакировал ей копытца, отошел в сторону и сел в углу на ящик. Халтурщики приступили к обсуждению. В лаборатории разрывался телефон, должно быть, Министерство обороны уже пронюхало об открытии. Никто, однако, трубки не снимал — сами приползут, если надо.

— Але, чиф, а можно ей под сраку дулю подвесить? — донесся до Куна голос любимого ученика, нахального Маламедова.

— Руки оторву! — рявкнул Кун и то ли заснул, то ли потерял сознание, словом «отключился».

Очнулся я на улице. Мимо стайками бежали лаборантки, машинистки, ассистентки, невинные жертвы столицы. Пахло снегом, как на горном перевале. Реклама ВДНХ шипела над перекрестком своим раскаленным аргоном. Из Шереметьевского аэропорта под эскортом грязных самосвалов катила дипломатическая «Импала». На заднем сиденье клевал носом, как всегда бухой, мой кореш, профессор-кремлинолог Патрик Тандерджет. Я подходил к метро.

В метро. Гул. Шлепанье подошв. Брехня. Смех. Лай. Смехолай. Голос книготорговца: новое о происках мирового сионизма! Естественно, первый покупатель — еврей. Советский еврей. Умный усталый хитрющий трудящийся еврей. Умный усталый хитрющий патриотически настроенный трудящийся еврей-специалист по космосу, по скрипке, по экономике, секретнейший по шахматам тренер коренного населения.

Наблюдения над евреем прекратились: закрыт двумя задницами, придавлен третьей. Осел, езжу в метро, а «Запорожец» гниет под забором.

Следующее подземное впечатление — маринованная вода, точнее, газировка с облачком сиропа, похожим на оборонительные выделения каракатицы.

Гад проклятый, куда завалился? Минуту или больше я искал по карманам утренний пятачок. Неужели новый гардеробщик стянул? Вот тебе и генеральская внешность. Внешность бывает обманчива, всю жизнь слышишь эту премудрость, пора

бы уже усвоить к сорока-то годам. Стянул — ясно. Завтра же поставлю вопрос о краже на Ученом совете и передам дело в партком, а копию в ЦК профсоюза инвалидов. Пусть разберутся, за что им деньги ПЛОТЯТ.

А вдруг недоразумение, несправедливость? Кажется, я что-то ел сегодня в буфете. Конечно же, брал винегрет за шесть копеек и платил медью без сдачи, большой монетой и маленькой. Да вот ведь и маринованную воду я пил за пять копеек. Отчетливо помню, с каким трудом запихивал пятак в трехкопеечную щель. Да, хорошо, что разобрался, у невинного человека могли быть страшные неприятности. Короче говоря, нечего дурака валять, никого он тебе не напоминает, этот гардеробщик. Жлоб как жлоб, ничего особенного. Все у тебя в порядке, и день прошел не без пользы, а кое в чем были даже удивительные достижения.

Весело и бодро насвистывая, сокрушительный удачливый мужчина подошел к длинному ряду подмигивающих меняльных аппаратов.

Вот она, цивилизация! В 1913 году в царской России не было ни одного меняльного аппарата, сейчас на одной только нашей станции 14 меняльных аппаратов. Выбирай, какой хочешь!

Я посмотрел внимательно на всю вереницу и вдруг обнаружил, что выбора нет. ИЗ всех этих четырнадцати автоматов ОДИН не мигал, а смотрел на меня плоским зеленым глазом, и вот именно к нему я должен был направить стопы, потому что это и был Их благородие, член подземного бюро.

Покорно, забыв уже обо всем на свете, о родине и о просторах Вселенной, о детстве и о любви, забыв и предав уже мать мою, спящую Европу, я подошел и вложил в пасть автомату — э, нет, не пятиалтынный, все-таки словчил в последний миг, такова человеческая природа, и потому мы неистребимы! — вложил ему в пасть гривенник. Оно презрительно зарычало, потом возник тихий но нарастающий гул, и я стоял, приговоренный еще не ведая к чему, и ждал, и Отче наш иже еси на небесах да святится имя Твое... На ладонь мою из железной утробы вывалились три пятака.

— Три? — спросил я.

— Три, — ответила она.

— А полагается два? — спросил я.